

Юлия ЩЕРБИНИНА

УПРАЖНЕНИЕ В НИЧТОЖЕСТВЕ

Феномен глумления

Нет пытки, которая сравнялась бы с пыткой глумления.

Виктор Гюго. Человек, который смеется

«Он поглумился над моими лучшими чувствами!» — сетует обманутая парнем девушка. «Убийца долго глумился над жертвой», — сообщает криминальная хроника. «Сказано не на глум, а на ум», — гласит пословица. Мы часто употребляем слово, но верно ли понимаем смысл? В чем суть глумления?

Инфернальное развлечение

Специализированных научных работ о глумлении ничтожно мало, а в тех, что есть, исследователи пытаются подобраться к этому явлению через смежные: нигилизм, аморализм, цинизм. Таков, например, подход немецкого философа Петера Слотердайка в «Критике цинического разума» (1983). Большинство толковых словарей определяют глумление как злобное и оскорбительное издевательство, осмеяние, вышучивание, доставляющие удовольствие говорящему. В русском языке с глаголом «глумиться» соотносятся также *куражиться, изыматься, потешаться*.

Между тем за сухими словарными толкованиям такая глыба истории, такая цитадель культуры, что становится очевидно: глумление невозможно целиком свести ни к роду оскорбления, ни к разновидности насмешки. Разница между глумлением и оскорблением примерно такая же, как между *ругательством* (бранным высказыванием) и *надругательством* (осквернением, бесчестьем). Последнее слово в определенных контекстах может выступать синонимом глумления.

Животные не глумятся — только люди. Глумливый смех — это не звериный оскал, скорее сатанинская ухмылка. Еще как-то возможно глумливо шутить, но никак нельзя глумиться в шутку, притворно. Глумление слишком очевидно, чтобы его не заметить и предельно однозначно, чтобы с чем-либо спутать. Усомнившись или не разобравшись, могут спросить: «Ты шутишь?», «Вы смеетесь?» И даже: «Это издевка?» Но никому не придет в голову задать прямой вопрос: «Ты глумишься?» Смех в глумлении не очищающий и не освобождающий — это смех насилия, разрушения, уничтожения.

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доктор педагогических наук, специалист в области книговедения и коммуникативных дисциплин. Автор ряда научных, научно-популярных, учебных книг и многочисленных статей в журнальной периодике. Лауреат премий журнала «Нева» (2014), журнала «Октябрь» (2015).

Глум иррационально инфернален, что отражено уже в мифологических представлениях. *Глумица* — устаревшее региональное название привидения, жуткой неопределенной тени на стене, вообще нечистой силы. «Нечистики» *глумятся* — то есть мерещатся, чудятся, неожиданно появляясь и исчезая. В Новгородской губернии *по-глумом* обобщенно называли внезапно, случайно и странным образом полученные физические повреждения. Здесь семантика иноприродности и противоестественности: глумление — удел бесов; самопроявление зла в жизни людей.

Глумцами в старину называли также скоморохов, а *глумами* — скоморошьи выступления, в которых и злободневная сатира, и лукавое насмехательство над несовершенством мира, и обнажение изнанки быта, приоткрывающей бездну бытия. Воспринимавшийся в язычестве как маргинальный двойник жреца, «перевернутый» образ волхва, в христианстве скоморох превратился в инфермальную фигуру, прислужника сатаны. Церковь усматривала в скоморохах «позоры бесовския», песни и пляски их считала дьявольски «всескверненными».

Переход поношения и высмеивания непосредственно в глум достигается не интенсивностью речевого воздействия — особой злобностью, беспримерной жестокостью высказываний, а особой мотивацией и специфической целью. Коммуникативная направленность глумежа не только, а часто даже и не столько в стремлении обидеть, унижить. Глумлением уничтожается достоинство, «обнуляется» ценность объекта. Часто глумотворец вообще не смеется, говорит и поступает абсолютно серьезно. Принципиальное отличие насмехательства от глумления — трансгрессия, выход за рамки дозволенного, преодоление моральных ограничений, взлом культурных табу.

В «Горе от ума» фамусовское общество насмехается над Чацким, но не глумится. В финальной сцене пушкинского «Выстрела» Сильвио насмехается и даже издевается, но все же не глумится над графом. А вот чиновники в «Шинели» и насмехаются, и глумятся над безответным Башмачкиным: здесь злословие превращается в увеселение, потеху. Упрощенно-обобщенная формула глума — *мучение как развлечение*.

Страсти Христовы

В европейской культуре присутствует универсальный архетип глумления и его устойчивые иконографические сюжеты: Поругание Христа и Увенчание терновым венцом. В изобразительном искусстве особое место занимает образ «Христа страждущего». Пожалуй, наибольшего пластического драматизма исполнен дюреровский «Христос-страстотерпец, высмеиваемый солдатом», сидящий на крышке гроба как вечное посмешище для своих земных мучителей (фронтиспис серии гравюр на металле «Большие страсти»). Из русской живописи вспомним незавершенную картину Ивана Крамского «Хохот (Радуйся, царь Иудейский)», изображающую сцену облачения Иисуса в багряные одежды, чтобы в насмешку поклоняться Ему как царю.

Однако Христова жертва не просто архетипический сюжет европейской культуры, но во многом культуру эту сформировавший и определивший ее генезис. Для всей европейской цивилизации этот сюжет как ковчег для иконы, обрамляющий ее и создающий эффект окна в иной мир. И любой акт глумотворчества — даже совсем беспомощный или самый ничтожный — содержит символическое воспроизведение Страстей Христовых, уменьшенное до масштабов частной человеческой судьбы. Притом вовсе не важно, кто конкретно глумится: верующие, атеисты, агностики. И всякий, над кем глумятся, автоматически становится мучеником, поскольку в акте глума уничтожается не *самолюбие* отдельной личности, но человеческое *достоинство* в целом.

Онтологическая взаимосвязь любого глумления со Страстями Христовыми как бы обеспечивает его жертве моральное алиби, даже если жертва насквозь порочна, греховна и не менее отвратительна, чем ее истязатель. Почему? Потому что глумитель как издевательство ради удовольствия не имеет никаких моральных оправданий, никаких этических обоснований.

Глумотворчество всегда и всецело на стороне зла. Оно слишком расчетливо и чересчур изощренно, чтобы быть оправдано эмоциональным аффектом или объективной необходимостью. В глумливых высказываниях, помимо их прямого значения, содержится общий, присущий всему роду человеческому «генокод злоречия». Глумление обнажает теневую сторону человеческой психики, а нередко и лютость нрава самого разумного на свете существа, готового ради гнусной прихоти терзать себе подобного.

Слова важнее действий

Древнейший род глумотворчества — тиранический: упоение властью через истязания. Глумление — одно из сущностных свойств тирана как извращенная демонстрация господства и насильственная фиксация вертикали власти. Примерами изобилует весь Древний мир, затем эта поведенческая модель воспроизводится последующими эпохами, включая современность. Аристотель в «Поэтике» выделял глумление как особый «вид пренебрежения». По Аристотелю, глумиться — значит «делать и говорить кому-то нечто такое, от чего другому становится стыдно... чтобы доставить себе удовольствие».

В римской античности сразу вспоминается император Калигула во всей ужасающей грандиозности его тиранического глумотворства. Калигула брал на пиру приглянувшуюся ему жену знатного мужа из числа приглашенных, проводил с нею ночь, а затем детально излагал интимные подробности обесчещенному супругу. Казнив единственного сына сенатора Фалькона в присутствии отца, распорядился еще специально приготовить для него блюдо из мурен. Во время трапезы Калигула обратился к убитому горем Фалькону с издевательским вопросом-подвохом: знает ли тот, чем кормили этих мурен. Насладившись недоумением, торжественно провозгласил: «Эта рыба вчера утром называлась Публием Фальконом-младшим! Ты сожрал своего сына! Вчера, после казни, я приказал разрезать его на куски и накормить ими мурен, которых мои повара запекли специально для тебя!» И долго хохотал над своей чудовищной шуткой.

Особо заметим: слова здесь гораздо важнее действий. «Чудовищность поступков он усугублял жестокостью слов», — комментирует Калигуловы упражнения в глуме Гай Светоний Транквилл в «Жизни двенадцати цезарей». Глумление — прежде всего словесная расправа, а физическое насилие — уже «меблировка» ситуации, будь то пиршественный зал, пыточная камера, городская площадь или сельское коповище, чтобы там состоялся обмен вербальными знаками.

Почти ни один случай глумления не исчерпывается одним лишь набором физических операций, это прежде всего акт коммуникации. Притом акт диалогический, даже если жертва молчит и молчат сторонние наблюдатели. Почему? Потому что глумотворец всегда ожидает ответной реакции: признания вины, раскаяния, сообщения ценных сведений (при пытках), мольбы о пощаде, да просто страдальческих воплей. Для тирана глумливые речи — отдельный вид извращенного удовольствия, для толпы устные издевательства — «довесок» к физическим истязаниям, «бонус» к общему куражу.

Пуще всего толпа обожает глумиться над беспомощными и обездвиженными: привязанными к позорному столбу, закованными в колодки, пристегнутыми к крестовине и т. п. Вперемешку с палками, камнями, комьями земли жертву забрасывают оскорблениями, насмешками, проклятиями. Но самое жуткое — глумление над казнимыми. Ужаснейшими из казней — роскошно обставленными, исполненными изощреннейших издевательств на потеху праздному люду — были казни ноки, как называли в Древнем Риме приговоренных магистратом к смерти преступников. Нерон изобрел беспримерно глумливый способ лишать жизни провинившихся подданных и пленных врагов: самолично сочинял и ставил на сцене трагедии, герои которых в финале умирали по-настоящему. Казнь превратилась в настоящий театр.

Так, вор Мениск сгорел заживо, изображая Геракла в плаще, пропитанном кровью кентавра Несса, что, согласно сюжету, вспыхивал от соприкосновения с полубожественной плотью. Другой лиходея был сожран львом, изображая на сцене Орфея, пытавшегося очаровать стадо травоядных звуками лиры. Двое ноки, представляя Икара и Дедала, величаво взмыли в воздух на крыльях из перьев — и точно по легенде красиво рухнули с перерезанными веревками в центр арены. Несчастных христианок — героинь театральной постановки легенды о Дирке (Дирцее) привязали к спине быка, а затем натравили тех же львов... Последний сюжет запечатлен на известной картине Генриха Семирадского «Христианская Дирцея в цирке Нерона» (1897).

Глумление как сценическая постановка, где речь важнее действия, практиковалось и с трупами. Один из самых памятных случаев вошел в историю под названием «Трупный синод» или «Жуткий синод» (лат. *synodus horrenda*). Вступив на священный римский престол в 897 году, папа Стефан VI приказал вырыть из могилы тело его предшественника Формозе, одеть полуразложившийся труп в папские одежды, посадить на трон, допросить (за «обвиняемого» отвечал прятавшийся за тронном дьякон) и признать виновным в преступлениях против Католической церкви. В качестве наказания телу отсекали пальцы, совершавшие крестное знамение, труп обнажили и проволокли по городским улицам, после чего зарыли в безымянной могиле для чужеземцев. Этот эпизод изображен Жаном Полем Лораном на картине «Папы Формоз и Стефан на „трупном синоде“» (1870).

Метафоры зла

Характерная черта глумотворчества — вычурная метафоричность, обнажающая его чудовищную вербальную подоплеку. Метафоричны казни Нерона, метафоричен «трупный синод». Глумливо-метафоричны названия казней и пыточных орудий: «медный бык», «железная дева», «колыбель Иуды», «дудка крикуна», «молитвенный крест», «дьявольский ветер», «испанский щекотун», «республиканская свадьба»...

В российской истории один из самых выдающихся тиранов-глумотворцев — Иоанн Грозный. Вот уж чьи поведение и речь — нагляднейшие образчики метафоризации! Царь любил казнить поджариванием на вертеле, превращая человека в зайца; заживо запекать людей в муке, будто карасей; уподобляя медведю, повелевал переодевать казнимого в шкуру и затем бросать на растерзание собакам (это называлось «обшить медведно»). Приказал повесить на одной виселице дворянина по фамилии Овцын и живую овцу. Голландскому доктору, который делал подпольные аборты, распорядился вытянуть щипцами внутренности через задний проход. Поставщиков несвежей рыбы — выпотрошить, как осетров, и разбросать кишки по городским площадям...

Иные исторические источники, конечно, грешат наивной либо злонамеренной гиперболизацией, а то и вовсе баснословными выдумками в описаниях царевых злодеяний, но для коллективной памяти экспрессия превыше достоверности, и поэтому в общественном сознании хранится некий «кластер» глума, составленный из наиболее вопиющих случаев, записанных на «жесткий диск» Истории. Среди таких случаев казнь одного дьяка-мздоимца, уличенного во взятке в виде набитого деньгами жареного гуся. Перед казнью Грозный спросил: «Ну, кто разрежет этого гуся?» Затем велел отрубать осужденному поочередно ноги вполтину икр, руки выше локтя, спрашивая, «вкусна ли гусятина». Наконец, после отсечения головы обратился к палачу с глумливым вопросом: «Ну что, хорош гусь?»

Поджигая пороховой бочонок с привязанным к нему схимником Никитой Казариновым-Голохвастовым, Грозный издевательски пошутил: «Схимники ведь ангелы: подобает ему над землею взлетети». Еще одного несчастного Иван Васильевич якобы пустил по озеру привязанным к запряженной слепой лошадию телеге, со словами: «Отправляйся же к польскому королю, вот у тебя есть лошадь и телега!» Воеводе Василию Телятевскому, приговоренному к утоплению за сдачу Полоцка, любезно предложил: «Когда ты запотел там при этом огне, то здесь охладись».

С беспримерным цинизмом было обставлено убийство боярина Ивана Федорова-Челяднина, в котором Грозный с его маниакальной подозрительностью узрел главу заговора. Царь призвал Федорова в парадные покои Большого Кремлевского дворца, приказал облачиться в государевы одежды и сесть на трон, затем встал перед боярином на колени и произнес: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился, чтобы быть великим князем московским и занять мое место: вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, которого жаждал». Вдоволь насладившись театральным эффектом, с размаху ударил боярина ножом. Затем по приказу Грозного к расправе присоединились опричники и земские, пока не закололи несчастного насмерть. Начало этой душераздирающей сцены отражено на известной картине Николая Неврева «Опричники».

Оборотная сторона тиранического глумотворчества — раболепие перед большей силой, пресмыкательство перед верховной властью. У того же Грозного глумливое кривлянье сочеталось с постоянным самоумалением перед Богом. Бесконечно измываясь над людьми и бесконечно же каясь пред Господом, в ряду прочих своих прегрешений царь упоминает словесные грехи, напрямую именуя их глумлением: «Душею убо осквернен есмь... язык срамословия, и сквернословия, и гнева, и ярости, и невоздержания всякаго неподобнаго дела... и иных неподобных глумлений...» В данном случае не столь важно, что смысл слова «глумление» в ту эпоху не имело полного тождества с современным — важно неоспоримое доказательство факта: глумящийся всецело осознает порочность своего поведения. Выспренность слов подсвечивается низость действий. Сусальная позолота речи плохо маскирует дьявольскую копоть поведения.

Идолы и жертвы

Природа глумления суть языческая. Акт глумотворчества весьма напоминает обрядовую процедуру, чаще всего — ритуал жертвоприношения. В них действительно немало общего: с одной стороны — хаос насилия и торжество низменных страстей; с другой — некая сконструированность, искусственность, а иногда даже искусность. Речь здесь используется не собственно для коммуникации, но в качестве «коммуникативной рамки», моделирования контекста ситуации. Глумящиеся рабы приносят

жертвы идолам своих тиранов. Глумящиеся тираны приносят жертву верховному идолу Власти.

При этом на поверку, за редкими исключениями, ритуальность глумотворчества иллюзорна. Всякий ритуал имеет строгую организацию, установленный порядок, а речь и поведение глумца не регулируются никакими правилами. Глумление лишь пародирует ритуальность, как бы само глумится над ней.

Формальное сходство глума с ритуалом позволяет провести также параллели с наказанием и казнью. Действительно, в древности многие экзекуции носили явно глумливый характер — когда не просто карали *преступника*, но издевались над *человеком*. Применявшиеся в старину публичные наказания не случайно именуется позорящими, в их антураж включаются и специальные атрибуты унижения: шапка с рогами, погремушки, перья, соломенные венцы и т. п. Однако в строгом смысле наказание никогда не синоним глумления, опять же, в силу регламентированности первого и произвольности второго. Экзекуция, какой бы жестокой она ни была, отличается от глумления регламентом и протоколом. Трактат «О преступлениях и наказаниях» (1764) итальянского правоведа Чезаре Беккариа гласил: «Целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку... а упреждение новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и удержание других от подобных действий».

Место ритуала в глумлении занимает клише, набор речеповеденческих стереотипов. Глум имеет устойчивые коммуникативные «сценарии», набор регулярно воспроизводимых стратегий. Так, аналогично Калигуле, тот же Грозный бесчестит жену своего писца, после чего приказывает повесить в трапезной прямо над обеденным столом, чтобы несчастный писец за едой смотрел на задушенную супругу. Затем Петр I, казнив сибирского губернатора Матвея Гагарина, тем же манером распоряжается накрыть пиршественный стол прямо рядом с виселицей и посадить за него жену и детей казненного. Очевидно также, что во множестве приемов глума — отголоски евангельского сюжета. Вспомним хотя бы коленопреклонение Грозного перед Федоровым-Челядниным. Вновь и вновь, «становясь пред Ним на колени, насмеялись над Ним, говоря: Радуйся, Царь Иудейский!..»

Подчас не менее глумливы, чем сами издевательские слова и действия, их циничные описания свидетелями и осведомленными современниками: словесные смакования пыток и казней, черный юмор о трупах, оставленных на потеху зевакам. Так, Жозеф Лебон, проконсул Па-де-Кале в 1793 году после казни госпожи де Моден куражился в дружеской переписке: «Третьего дня сестра бывшего графа Бетюнско-го чихнула в мешок!» Он же похвалялся тем, что немилосердно предает казни всех старух, ибо «на что они на свете?».

Видный общественный деятель и журналист XIX века Михаил Семевский описал пытку в 1743 году Натальи Лопухиной, бывшей статс-дамы императрицы Елизаветы Петровны. В этом описании ужаснее пыток на дыбе и сечения кнутом слова палача: «Показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: „Не нужен ли кому язык? Дешево продам!“» А ведь еще двумя годами ранее ей, супруге вице-адмирала, была высочайше отписана волость в Суздальском уезде с «говорящим», словно по иронии судьбы, названием Глумовская...

Известный современный историк Евгений Анисимов в книге «Русская пытка» цитирует не менее впечатляющий отечественный источник XVIII века: «И сидит на том шпиле преступник дотоли, пока иссохнет и выкоренится, як вяла рыба, так что, когда ветер повеет, то он крутится кругом як мельница и торохтят все его кости, пока упадут на землю»¹.

¹ Анисимов Е. В. Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века. СПб.: Норинт, 2004.

Однако же, несмотря на речеповеденческие клише, глумотворчество отчаянно сопротивляется углубленному изучению. Но проблема не в древности феномена (проклятие или оскорбление ничуть не менее архаичные виды злоречия), а в его преимущественно психической, нежели социальной основе. Скрытые психические структуры коренятся так глубоко, что для их исследования не хватает ни глубины лота научного познания, ни мощности прожектора культуры. Глумление приоткрывает бездну потаенного в человеке зла, переводит метафизику в коммуникацию, в сферу общения. Чем глубже разверзаемая бездна зла — тем тоньше «озоновый слой» культуры.

Жизнь «сугубого вандала»

Глумление — неотъемлемая составляющая ряда субкультурных практик. Субкультура маргинальна по отношению к национальной и общечеловеческой культуре, и глумление как речевая маргиналия вполне логично обретает здесь если не законные, то полузаконные основания.

Принцип сосуществования маргиналий наглядно воплотился в *пеннализме* (нем. *Pennalismus*) — неофициальных отношениях между студентами-новичками (пенналами) и старшекурсниками в немецких (особенно лютеранских) университетах. Достигнувший крайних и подчас вопиющих проявлений в XVII веке и просуществовавший, как минимум, до XVIII, пеннализм происходит от обычая *депозиции* (лат. *depositio*) — церемонии «посвящения в студенты» и вступления в «корпорацию студентов», наподобие рыцарскому, монашескому, ремесленническому посвящениям в средневековье. Нередко эта церемония обставлялась как ритуальное истязание и носила глумливый характер, увеселяя присутствующих.

В истории российских учебных заведений интересны сложившиеся в военных училищах во второй четверти XIX столетия «закальство» и «цук» — целая система неуставных отношений, основанная на жестком принудительном подчинении по старшинству. Глумливы уже сами названия лиц: старшекурсники — «благородные корнеты», «лихие», тогда как новоприбывшие — «сугубые звери», «вандалы», «печенег», «хвостачи»; эскадронный вахмистр — «земной бог»; взводные портупей-юнкера — «полубоги»; противники унижительных правил — «навоз школы»...

Словесный глум воплощался в унижительных ритуалах. Заставляли влезать на тумбочку, нюхать воздух в открытую форточку и докладывать, чем пахнет. Желать «корнетам» спокойной ночи с подробнейшим долгим перечислением всех начальников. «Отправляли в путешествие», принуждая делать приседания и делиться путевыми впечатлениями «по дороге из Петербурга в Москву». В любой момент «корнет» мог изобличить и без того измученного рассказчика в ошибке: «Вы не успели еще доехать до Бологого. Начинайте сначала!» Принуждали признаваться «корнету» в любви в стихах: «Лишь вижу ваш корнетский взгляд, / Вмиг зверской страстью загораюсь...» Писать сочинения на нелепые темы вроде «Влияние луны на бараний хвост». Демонстрировать осведомленность по разным вопросам: «Молодой, пулей расскажите мне про бессмертие души рябчика!»

Причем интересен и важен следующий факт: «цук» был исключительно офицерской практикой, среди солдат вплоть до середины прошлого века ничего подобного не наблюдалось. Этот факт может немало удивить иного неискушенного современника, ведь в культуре укоренился стереотипный образ дворянина как «невольника чести», эталона благородства, поборника высоких моральных принципов. Здесь вновь наглядно проявляется иррациональная инфернальность глумотворчества, незримая в обыденных обстоятельствах и не мотивированная формальной логикой.

Мидасовы уши

Не менее питательная среда для глумотворчества — школа, в которой оно пускает свои первые корешки. Школьный глум отчасти также опирается на субкультурные практики, отчасти на специфические формы взаимоотношений учащихся и педагогов. Здесь пересекаются несколько феноменов: борьба за авторитет и лидерство, известное во все времена третирование одних членов коллектива другими — буллинг, испытания новичков — хейзинг и, конечно же, традиционные школьные наказания, многие из которых выходят за официально установленные рамки, приобретая явно глумотворческий характер.

В старину во многих школах практиковалось позорящее наказание «Мидасовы уши». Нерадивого или шаловливого ученика ставили в центр класса в бумажном колпаке с ослиными ушами и надписью «Dunce», «Dussel», «Âne» (англ., нем., фр. — дурак, тупица, остолоп, болван). Название отсылает к знаменитой античной легенде о царе Мидасе, награжденном ослиными ушами. На протяжении столетий школяров обряжали в позорные колпаки на потеху однокашникам, цепляли на спины тетрадки с ошибками и выставляли на школьный двор, водили по классам, заставляя выслушивать хоровые издевки и оскорбления. Воспитанниц российских императорских институтов благородных девиц ставили в столовой без форменного передника — такое наказание столь же глумливо именовалось «столпник» и символизировало публичное раздевание.

Но даже и без наказаний глумежа в школах всегда было предостаточно. Глумились ученики над учителями, педагоги над школярами, соученики друг над другом. Что ни мемуарный рассказ о школьных годах — то очередная грустная исповедь.

Вот как, например, описывает Андрей Белый своего учителя немецкого языка в книге воспоминаний «На рубеже двух столетий»: «С сардонически улыбающимся (презло и прегадко) ртом — даже тогда, когда не на что было улыбаться, с пытливыми какими-то желтыми зрачками юрких глазенок, он производил впечатление вечного паяца (и когда объяснял, и когда хвалил, и когда порицал); и нельзя было разобрать, над чем он глумится; его глумление выражалось в иронических „ээ“, „хээ“, „хм“, в постукивании нас по лбу пальцем (лишь в шестом классе мы его отучили от этого), сопровождавшем исправление стиля наших переводов...»

Глумились в заведениях не только светских, но и духовных — достаточно почитать «Очерки бурсы» Помяловского, цитируемые нынче едва ли не во всех работах по агрессологии. При этом почти никем из исследователей не отмечено, что Помяловским выводится специфический речеповеденческий тип *отпетого*, воплощенный в образе Гороблагодатского, который «поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, отмачивает дикие штуки».

«Отпетый» — своего рода эталон глумотворца, его речеповедение — матрица глума. Выстраивается логическая взаимосвязь: утрата сущностных свойств уподобляет живого человека мертвецу (ср.: отпетый в церкви покойник) и одновременно подталкивает к глуму — уничтожению человечности в других людях. Рядом с «отпетыми» обыкновенно присутствуют глумцы помельче, хотя вовсе не значит, что безобиднее.

Уже-не-человек

Нередко глумотворчество — это явная патология сознания, доведенное до предела антиповедение, эксцесс злоречия. Склонность к глумлению — характерная черта

некоторых серьезных психических расстройств, в частности эпилептоидной психопатии, вызывающей *дисфорию* (греч. *disphoria* — раздражение) — внешне не мотивированную и неподконтрольную злость, побуждающую к нападкам. Некоторые выходы переходят все мыслимые границы дозволенного и отличаются эксцентричностью в соединении безумства с чудачеством.

Что нынче, что встарь иные господа откалывали такие фортели, выкидывали такие коленца, будто соревновались за титул почетных глумцов. В русской истории вспомнить хотя бы крупнейшего горнозаводчика XVIII века Прокофия Демидова, который обвенчал крепостную девку с мертвым рудокопом. Этот вопиющий случай описан в исторической трилогии Евгения Федорова «Каменный пояс». Известны деспоты калибром помельче, вроде зарвавшихся помещиков. Хрестоматийный пример, конечно же, Дарья Салтыкова, что из столбовой дворянки с безукоризненной репутацией уже в 26 лет превратилась в ужасную Салтычиху и жесточайшими изуверствами в течение пяти лет истребила, как минимум, 138 человек — четверть своих крепостных. В лично составленном Екатериной II приговоре о лишении дворянства и пожизненном заключении в монастырскую тюрьму фамилия преступницы была заменена определениями «урод рода человеческого» и «бесчеловечная вдова».

О более мягких, но не менее омерзительных формах помещичьего самодурства читаем, например, у Александра Амфитеатрова в романной хронике «Княжна» (1896): «Грозные зверствовали, добрые глумились. Провинившегося лакея кроткая помещица, не признающая телесного наказания, ставила на коленях посредине двора и заставляла вязать чулок. Горничная, не выполнившая приказания, приглашалась в гостиную, — сажали ее на место барыни, на диване, подавали ей чай, говорили ей „вы“ и „чего изволите“, — до тех пор, пока виноватая не валилась в ноги, моля простить ее и освободить от непривычного приема и угощения...»

Вообще глумление над безответными «маленькими людьми» — один из сквозных мотивов русской литературной классики. Помимо произведений Достоевского и гоголевской «Шинели», назовем не столь известные широкому читателю пьесы Тургенева «Нахлебник» и Островского «Шутники». В «Нахлебнике» бедный дворянин выказывает жалкое раболепие, демонстрирует угодничество, чем провоцирует хозяев всячески над ним издеваться: заставлять петь и плясать, рядить в колпак из сахарной бумаги. «Горемыка-подьячий», герой комедии «Шутники», покорно признается: «Тот тебе рыло сажей мажет, другой плясать заставляет, третий в пуху всего вываляет. Сначала самому не сладко было, а там и привык, и сам стал паясничать и людей стыдиться перестал». Здесь уже не просто покорность, но едва ли не радость от глумления.

Однако глумились отнюдь не только власть имущие. Точно так же среди крестьян, рабочих, купцов, чиновников — всюду встречались самодуры и сумасброды, считавшие глум лучшей из всех забав. В чеховском рассказе «Корреспондент» купцы в хмельном угаре жестоко потешаются над опустившимся журналистом: вливают в него водку без меры, подбрасывают к потолку, сыплют на голову соль. А тот «блаженно улыбался», поскольку «ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, „нолика“». Случай горчайшего самоуничтожения человека, который не ведает глумления как зла. По большей части глумление носило все же не сословный, а бытовой характер, проявляясь как общая черта, универсалия человеческого поведения. Так ведь и над Христом глумились не только власть имущие, но и простонародье, в том числе даже рабы.

Наиболее распространенной, хотя и не самой сильной формой повседневного глумления можно считать *злорадство* — веселье и ликование над чужим горем,

несчастьем, бедственным положением; выражение удовлетворенности и наслаждения от чьих-то неприятностей, неудач, поражений. Истоки злорадства лежат на поверхности: зависть, ревность, собственное ничтожество. Отсюда типичные объекты глумления: поверженные враги (глум как подтверждение победы); бесправные люди, рабы (глум как демонстрация власти); беспомощные и немощные — калеки, больные, старики (глум как проявление психологических комплексов); аутсайдеры и чужаки (глум как превентивная самозащита). В каждом из этих случаев как бы недостаточно уже достигнутого унижения — военным поражением, болезнью, старостью, отверженностью и так далее. Возникает инфернальная потребность в еще большем умалении — вплоть до полного истребления.

На это косвенно указывают и некоторые этимологические разыскания. Так, глагол *издеваться*, впервые фиксируясь в русском языке в XVII веке, по мнению большинства лингвистов, происходит от старославянского «вынуть, извлечь имя», а *измываться* — из «колдовать, обмывая», то есть причинять вред колдовством. На уровне языкового бессознательного оба слова соотносятся с неким иррациональным воздействием, скрытым проявлением злых сил, изъятием у человека чего-то существенно значимого, жизненно важного. Ср. также различные диалектные синонимы: *измогать* (лишать сил); *искитаться, выдирать* (высмеивать); *изумляться* над кем-либо (значение «издеваться», производное от «лишиться разума»).

Глумлением развоплощается и обесценивается не только конкретная личность, но сам образ Человека, венец творения. Глумление — это акт *расчеловечивания*. «Обнуляя» свою жертву, глумотворец сам уподобляется вещи, неодушевленному предмету, ибо не сострадает, не стыдится, не совестится. То есть ведет себя *не по-человечески*.

Глум — упражнение в ничтожестве. Как выглядит ничтожество? Уильям Блейк метафорически уподобил его призрачной блохе, что вселяется в человеческие души, которые «были по своей природе слишком кровожадны». На знаменитой блейковской картине чешуйчатый монстр выходит словно из-за кулис дьявольского театра и пускает слюни в чашу для сбора крови. Самый потаенный и самый ужасающий смысл глума — разрушение личности, в системе христианских представлений — истязание души, пусть ненастоящее (ибо душа бессмертна), но символическое ее уничтожение.

Животворящее vs смехотворное

Глумление возможно не только над людьми, но и над идеалами, святынями, ценностями, добродетелями. В этом случае мы имеем дело чаще всего с глумливым осмеянием как разновидностью богохульства, кощунства, святотатства², в светской культуре — со стебом. Здесь глум выступает противоположностью благоговения и превращает *животворящее* в *смехотворное*. Стратегия все та же: символическое уничтожение через обесценивание.

В отличие от иронии или порицания, глумлению неведомы никакие ценности — оно нацелено на полную дискредитацию объекта. Жертва глума превращается в *пошмишище* — нечто обезличенное, безобразное, обесцененное. Христианство усматривает глумление богохульного свойства не только в различных атеистических практиках, но и в остаточных языческих верованиях. Так, в 92-й главе «Стоглавого собора» (1551) под названием «Об игрищах еллинского беснования» читаем: «...глумы творят всякими играми и песнями сатанинскими». Значение в целом то же, что в церковном определении скоморошеских игрищ, но тут глумлению все же дается кон-

² Подробнее см.: Щербинина Ю. «Ощущаем и неверующим в него». Заметки о богохульстве // Нева. 2017. № 7. <http://magazines.russ.ru/neva/2017/7/oshushaem-i-neveruyushim-v-nego.html>

сервативно-охранительное толкование. Гораздо более очевидно и недвусмысленно глумление над христианскими святынями в развлечениях того же Иоанна Грозного с его «монастырем» из опричников или Петра Великого с его Всешутейшим и Всеплянейшим Соборами.

При этом если Иван IV привечал скоморохов, на пирах даже иной раз прятался за «машкару» (личину) и отплясывал вместе с ними, то Петр I скоморохов запрещал. Однако, в сущности, оба государя одинаково явно, лишь в разных формах демонстрировали двойные стандарты, присущие вообще любой тирании. Один днем мучил и убивал, в перерывах тешась скоморошьими забавами, а ночью отбивал земные поклоны в покаянных молитвах. Другой, изгоняя «бесовских игрецов», бесновался куда как хлеще. Тирания сама определяет форматы и границы глумотворчества, сама решает, что есть рвение пред Господом, что просто озорство, а что богомерзость.

В целом же легко заметить, что глум во всех его проявлениях пуще всего лютует в переломные периоды истории, связанные со смутами, войнами, революциями. Скажем, Емельян Пугачев, как и подобает бунтовщику, не только подымал господ на вилы, но и «произвел подобные своему зверству варварствы». Причем глумился не только над ненавистными господами и защищавшими их царевыми воинами. Астронома Георга Ловица велел повесить «поближе к звездам». На обеде у архимандрита Александра заставил дворню петь тропари, пока его робятушки разграбляли дом священнослужителя. В плане речевых стратегий и поведенческих стереотипов самопровозглашение Пугачева «царем Петром» более чем символично.

В смутные времена глумеж превращается в доминанту коммуникации: глумятся все и над всеми. Примеров хоть отбавляй. Так, в годы Гражданской войны глумились и «красные», и «белые», и «зеленые», и большевики, и меньшевики, и беспартийные. Вот лишь несколько вопиющих случаев 1919 года. В Барнаульском уезде арестованных зажиточных крестьян, зверски избив, водили по селу, заставляя говорить: «Я враг народа» и «Благодарю вас, товарищи». Наглумившись вдоволь, закопали живьем на кладбище для скота. В селе Тогул казнь священников обставили в декорациях Страшного суда: сначала прогнали через строй крестьян с нагайками, а затем перед публичным сожжением заставили заклинать партизан анафемой и петь «Христос воскрес». В Кузнецке, учинив расправу над 800 горожанами, пьяная мразь горланила глумливые частушки вроде: «Попадью застрелил Ваня, / Бело платье на меня. / Я иду, собой люблюсь, / Все равно как попадья». В отместку в одном из поселков крестьяне убили коммуниста и зарыли вместе с песьим трупом и запиской: «Коммунист и собака — одно и то же».

Эти и аналогичные примеры — очередные доказательства того, что в глумотворчестве речь страшнее действия, что чудовищность происходящего открывается именно в высказываниях, что глум не просто род насмешки, но символическое убийство.

Агрессивная непристойность

Глумление над идеалами и ценностями непосредственно связано с *цинизмом* — особым типом сознания, выражающимся в нигилистическом отношении к морали, общественным ценностям, идее человеческого достоинства. Понятие цинизма формально происходит из кинической философии, но за последовавшие затем столетия существенно с ней расходится и в настоящее время определяет общую поведенческую установку глумотворца.

Американский философ и психолог Ролло Мэй в работе «Сила и невинность» (1972) высказывает справедливую и очень важную мысль о том, что «первой жерт-

вой насилия становится язык». Более того, само насилие, по Мэю, есть результат искажения языка. А «промежуточной стадией распада слов» философ считает цинизм, который «атакует то, что было неприкосновенным, и возникает, когда слово теряет свойственную ему цельность». Слово «становится агрессивным на одной из стадий своего изнашивания: оно теряет свое изначальное значение, принимая форму агрессивной непристойности»³.

На рубеже XX—XXI веков филологи заговорили также о *лингвоцинизме* (термин А. П. Сковородникова) как особом использовании языка для демонстрации пренебрежительно-уничжительного отношения к действительности. С одной стороны, лингвоцинизм проявляется как деконструкция уходящих реалий, разоблачающе-уничжительное осмеяние ветшающих лозунгов. Появляются такие специфические жанры, как *антипословицы* и *антиафоризмы* — переделки традиционных паремий (нем. *Antisprichwoerter*, англ. *anti-proverbs, twisted wisdom*). Многие из них основаны на черном юморе, вульгаризации ценностных понятий, разрушении традиционных смыслов, а некоторые являются и откровенным глумотворчеством⁴.

С другой стороны, лингвоцинизм выражается в глумливом смаковании непристойностей, игровой подаче трагических сведений, перенасыщении текстов СМИ всевозможным негативом. Популярно подробное описание технологий совершения убийств и суицида, деталей терактов, катастроф, стихийных бедствий. Вместо нейтрального предъявления фактов — кощунство в определениях, описаниях, оценках; искусственное нагнетание страха либо нездорового любопытства; насаждение сниженных форм речи, жестокий стеб в новостных лентах, комментариях происшествий, криминальных хрониках.

Заголовки публикаций газеты «Московский комсомолец» разных лет: *Выброшенный в мусоропровод младенец и не подумал умирать... Родных жены продавец вгонял в гроб молотками... Студентка кулинарного техникума приготовила рагу из головы матери... Убийца выпустил из родителей кровь, чтобы трупы не портились... Подросток готовил кошкам гречневую кашу с мясом отца... Труп ездил на санках в центре Москвы... Перед самоубийством ребенок рассказал стих о мире...*

Однако лингвоцинизм — это не только способ отстранения от реальности, но и иммунологическая реакция социума на угрозы и вызовы окружающей действительности. Одновременно и провокация, и защита. Причем здесь не так называемый *юмор висельника* (нем. *Galgenhumor*, фр. *rire jaune*) — смеховая бравада в отчаянном положении, в ситуации смертельной опасности, изживание травматического переживания смехом. Нет, это скорее «юмор вешателя», то есть именно глумеж, жестокая издевка над тем, что вообще не подлежит поношению и осмеянию.

Ржунимагу

Далее можно пропустить почти вековой период европейской и отечественной истории и обратиться сразу к современности. В событиях и фактах XX столетия при всем изобилии и разнообразии конкретных примеров (даже в зверствах фашистских концлагерей, трагических судьбах заключенных ГУЛАГа или вопиющих случаях нашей армейской «дедовщины») мы вряд ли обнаружим какие-то принципиально новые способы глумотворчества в дополнение к описанным.

Современные формы глума — сплошь упражнения в ничтожестве. Из обширного арсенала коммуникативных инструментов и словесных средств выбираются самые примитивные, несмотря на порой кажущуюся формальную изощренность. Сове-

³ Мэй Р. Сила и невинность: в поисках истоков насилия М.: Смысл, 2001.

⁴ См., например: Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы русского народа. СПб.: Нева, 2006.

менность усиливает и акцентирует смеховую составляющую глума. Все переводится в «ржаку», «бугагашечки», «гы-гы-гы». Из поведенческой маргиналии глумеж превращается в заметную речевую тенденцию, захватывая едва ли не все сферы — профессиональную и бытовую, публичную и приватную. Антиполовицы уже не только о политике, но и о дружбе («Не зная брода — пропусти вперед товарища»), любви («Любовь — костер: не кинешь палку — погаснет»)...

Прежде во всяком споре требовались аргументы — сейчас вполне достаточно всего лишь глумливо дискредитировать предмет обсуждения: «Да это вообще бред полнейший!»; «Здесь не о чем говорить, ведь это смешно!» И даже совсем просто: «Бруга-га! Ноу комментс!» Раньше народная мудрость гласила: «Молчи — за умного сойдешь». Сейчас ум проще продемонстрировать осмеянием чего угодно. Главное, хочоть погромче и стებაсть пожестче. Излишнее усердие и тотальная неразборчивость в выборе объектов осмеяния доводят стиб до глума.

Прежде была глумливая подлость — нынче глумливая пошлость. Измельчание жизненных форм неизбежно ведет к деградации форм речи. Нынче глум все чаще не от жестокости и невежества, а от снобизма и неутолимой страсти к самовыражению, которое, как точно сформулировал Алексей Иванов в романе «Комьюнити», отличается от самореализации тем, что «ему не нужны причины, нужен только повод». Глумление во всех его разновидностях — легкий и незатратный способ заявить о себе в социуме, где актуальные тренды становятся важнее общечеловеческих ценностей.

При этом глумотворчество усиленно ищет апологетические основания в самом языке, создает себе новые лексические подпорки. Общество увлечено изобретением неологизмов, заведомо мотивирующих и отчасти даже оправдывающих глумеж. Диагностируют у части населения «православие головного мозга» — и выступают с «панк-молебном» в центральном храме страны. Называют «победобесием» почитание военно-патриотических традиций — и отплясывают топлес у мемориалов, жарят шашлык на Вечном огне...

Попутно заметим: многие подобные неологизмы уже сами по себе образчики глумотворчества. Причем здесь неважно, каков объект — одобряемый или порицаемый: глумом разрушается вообще все человеческое. Сам же глум пафосно именуется, а заодно и неплохо маскируется красивыми определениями вроде «свободомыслие», «креативность», «художественный жест», «акция протеста».

Неразборчивость и тотальность глума порой приводят к абсурду. Вспомнить хотя бы не столь давнюю историю с «Упоротым Лисом» (англ. stoned fox) — странным, жутковатого вида чучелом попавшей в капкан лисы. Изначально неудавшееся, бракованное изделие британской таксидермистики Адель Морзе по каким-то ничем не объяснимым, иррациональным (опять же!) причинам вдруг стремительно обрело широкую популярность, превратилось в модного персонажа многочисленных интернет-приколов, вариант «отличного подарка» и вообще в «национального героя». В онлайн-среде глумотворчество становится одновременно материалом, инструментом и механизмом создания квазинформационных продуктов: мемов, фейков, демотиваторов, «фотожаб».

Однако вот что любопытно: в Интернете легко оскорблять и гораздо сложнее именно глумиться. Глумление расчеловечивает, а как расчеловечить аватар, юзерпик? Никак. Поэтому за редким исключением ошибочно отождествлять глум и, например, троллинг или флэйм. С натяжкой можно назвать глумотворцами и уже утративших былую популярность падонкаф — участников русскоязычной сетевой субкультуры, развлекающихся коверканьем слов, типа «пацталом», «ржунимагу», «аффтар жжот»... Этот «олбанский йязыг» скорее пародия, а в не собственно глумеж.

Настоящему глуму подвергается именно реальное, а не виртуальное. Идол Глума вождеет не виртуальных, а живых жертв — из плоти и крови. Такова его языческая основа. Капище может быть и виртуальным, например веб-форум или социальная сеть — главное, чтобы объектом, мишенью был настоящий, реальный человек.

Умирает известная поп-певица — тут же циничные весельчаки переиначивают слова ее шлягера «Я никогда не была в Малинках» на «не была в могилке». Падает в океан самолет с ансамблем песни и пляски — сразу сочиняются глумливые посты в духе «концерт на дне», «трупы загрязняют воду», «раньше царя морей веселил гуслиар Садко, а теперь целый ансамбль». И так обо всем: о терактах, стихийных бедствиях, религиозных столкновениях, политических конфликтах... Хотя эмоциональный градус уже явно не тот, что во времена Ивана Грозного: глумеж по-прежнему коробит, но уже почти не шокирует.

В любую эпоху находится прибежище inferнальности. Кстати, есть и антипословица в тему: «Ад — историческая Родина человека, рай — доисторическая». А супермодное, превратившееся в мем звукоподражание *бру-га-га* (фр. *brouhaha* — обваль-ный хохот, шквал хохота; англ. *brouhaha* — скандал, шумиха) изначально, в XVI столетии, означало не что иное, как смех дьявола. Но неужели человек как тот Упоротый Лис: бракованная модель самого себя, застрявшая в капкане глума?